

ИДУ В ДОЛЮ

Рассказ

Казанцев сидел как обычно за столом президиума. Всё было знакомым, таким, как всегда. Слева от него — председатель райисполкома Заливадный, плотный, с седым ёжиком волос, в неизменной чёрной гимнастёрке, перехваченной и сейчас, через десять лет после войны, широким солдатским ремнём, справа — удачливый и весёлый директор ведущей в районе МТС — Терентьев, рядом с ним райвоенком. Позади тоже знакомые лица: председатель колхоза Степовой, мужик не без хитринки, за плечами которого сельскохозяйственная академия; сосредоточенный и степенный секретарь райкома комсомола Ванюшин, знатная доярка Семенихина, уже обывшая на сцене в ярком электрическом свете и не краснеющая от смущения, как два года назад, когда её имя первый раз было названо в составе президиума.

На длинном столе, покрытом красной скатертью, графин с водой,— вода чуть дрожит в нём, отражая алый бархат занавеса. На скатерти в изобилии чистые листы бумаги, остро отточенные карандаши. После собрания их такими и унесут, разве на одном из листков появится список выступавших, а на другом растушовка от нечего делать да причудливый орнамент. По краям стола— лампы на высоких мраморных ножках под матовыми абажурами, а прямо перед Казанцевым — микрофон.

Рядом со столом раньше стояла трибуна, но на этот раз, вернувшись из края, Казанцев дал распоряжение поставить её внизу, перед сценой.

В зале света меньше. Чуть различимы портреты на стенах, лозунги на красных узких полотнищах. Казанцев, пожалуй, давно забыл, что написано на каждом из них, а вот исчезни хоть один — заметит сразу, очень уж привычны они в простенках между окнами.

В первом ряду в зале секретарь Клавочка. На её обязанности лежит время от времени вынимать из ящика, прибитого к крайнему стулу, записки и передавать их в президиум. Кроме того, Клавочка следит за каждым движением руки, каждым взглядом Казанцева. Какое там следит! Она просто не упускает ни одного его жеста и сразу угадывает, когда она нужна, встаёт, изящная и деловитая, поднимается на сцену, готовая позвать, разыскать, предупредить, выполнить любое его поручение, пусть оно отдано кивком головы, двумя тихими словами.

Недалеко от Клавочки — старший зоотехник колхоза «Новая заря», чуть дальше — полная стриженная женщина — директор средней школы, за ней инструктор райкома с орденской планкой на пиджаке. Всех их Казанцев ещё вчера предупредил, что они должны выступить на активе, люди имели возможность подготовиться, подумать. Казанцев ещё раз пробежал глазами список выступающих: кажется, никто не забыт — от чабанов слово получит Бондарчук, а директор промкомбината представит, так сказать, промышленность района.

В регламент своего доклада Казанцев вложил точно, выслушал полагающиеся ему не щедрые, но и не скупые аплодисменты. Перерыв прошёл в беседе с Заливадным. Ожидал, что после перерыва народу в зале поубавится, но почти никто не ушёл. Услышал удовлетворённый шёпоток Заливадного: «А дисциплинку-то мы в районе подняли». Ладно, пусть «мы», хотя где уж там Заливадному дисциплину поднимать, его и самого приходится то и дело подпирать своим крепким секретарским плечом.

Казанцев любит привычно и уверенно твёрдой рукой вести собрание: «слово имеет... подготовиться...» Казанцев даже такое удачное новшество ввёл, что на трибуне при нажиме кнопки загорается предупреждающая надпись: «Осталось две минуты»...

Но сегодня он докладчик, и собрание ведёт Заливадный. Выступит человек десять, потом председатель привычно обратится: «Поступило предложение прекратить...» Казанцев ответит на вопросы. Он умеет это делать, кратко, оптимистично, наступательно. В заключительном слове он поблагодарит за критику, одёрнет кое-кого из выступавших, пожелает успехов. Потом Ванюшин прочтёт проект решения. Голос у него чёткий, громкий, ни одно слово не пропадёт для слушателей. Очень выразительно получается у Ванюшина: «считать недопустимым», «потребовать всемерного»...

Часам к десяти вечера актив кончится. Большое дело будет сделано. Завтра с утра Казанцев позвонит в край.

Всё было таким знакомым, привычным, обжитым...

Когда Бондарчук спокойно шёл между рядами, Казанцев даже улыбнулся ему, любовно оглядел его крепкую, коренастую фигуру, обветренное лицо. Бондарчук — гордость района. И в дни, когда бушевала стихия, сохранил поголовье овец. А настриг какой! Вот пусть и расскажет, как работать надо, кое-кому головы опустить придётся.

Бондарчук облокотился на трибуну, расположился удобно, кашлянул для начала.

— Мне товарищ Казанцев советовал рассказать активу, как мы нашу отару сохранили. Так и рассказываем из собрания в собрание, как высокий урожай сняли, как досрочно ремонт тракторов окончили, как удой повысили. Стоим и выхваляемся. А товарищ Казанцев словно парад принимает. Передовики перед ним маршируют строем и в одиночку, а он радуется. В край поедет, не обидит, о нас расскажет. Утешаемся все вместе. А утешаться-то рановато. Ну, расскажу я про свою чабанскую бригаду. А толку? Давайте о другом поговорим. Сколько овец в районе погибло? Сказать страшно. Слово придумали — «стихия»! Три года тому назад — стихия. Прошлый год — опять же стихия. И сейчас она, проклятая. А какая там стихия. У неё другое имя есть. Простое. Зима! А к зиме готовому надо быть. Не подготовился — отвечай. Не прячься за стихию.

Ещё как следует не вдумавшись в услышанное, Казанцев сжался. Слишком неожиданными и резкими показались слова чабана. Готов был негодуяюще вспыхнуть, но взглянул в зал и встретил насторожённые, взволнованные лица. Какое-то неясное чувство овладело им... Да, именно так: зал вздохнул свободной грудью, подался вперёд одним движением и снова замер. Этого не мог не уловить и не понять Казанцев.

А в тишину одно за другим падали слова старого чабана, для которого гибель овец была не цифрой в сводке, а большим личным горем. Всё вспомнил Бондарчук. И хвастливый рапорт осенью о заготовке кормов. И то, как лежали они мёртвым капиталом, не довезённые до места. И дороги, которые люди пробивали в метели в метровых снегах. И обмороженные руки трактористов. И полосы районной газеты, где писалось о героизме трактористов и шофёров. И молодого водителя, что замёрз в степи. Привёл к чабанскому стану машину с кормами, увидел, как по травинке растащили голодные овцы сено, как благодарно жали ему руку чабаны, не стерпел паренёк, ринулся во второй рейс, да и погиб.

— Героизм... — голос Бондарчука дрогнул. Он круто обернулся назад, и хотя стоял внизу у сцены, но Казанцеву показалось, что лицо чабана с резко обозначенными морщинами требовательно и грозно надвинулось на него. — За этот героизм отвечать надо. Вам, товарищ Казанцев...

— О кошарах скажи, — донеслось из глубины зала.

— Скажу, — спокойно согласился Бондарчук. — Понапихаем туда овец, как сельдей в бочку, аж задыхаются...

Но тут Заливадный, который давно нетерпеливо поглядывал на часы, обрадованно встал.

— Время истекло, товарищи, — доложил он.

— Пусть говорит, — грянуло из зала.

— Выступающих много, — попробовал убедить Заливадный.

— Пусть говорит!

Заливадный недовольно развёл руками, показывая, что подчиняется против воли, и опустился на стул.

Казанцев сидел, прикрыв рукой глаза, не глядя ни в зал, ни на Бондарчука. Сидел и слушал то, о чём сам давно знал. Но всегда думал, что Бондарчук только благодарен будет. Ему, его чабанской бригаде, действительно, создавались особые условия, ему помогали во всём. Но стоит же старик этого! И вот сейчас Бондарчук говорит о несправедливости.

...Чабан кончил, сел на своё место, а люди хлопали и хлопали ему.

Казанцев чувствовал, что надо поднять голову, надо взглянуть в зал. И не мог. Он даже не услышал, чью фамилию назвал Заливадный. И только потом, по голосу понял, говорит инженер МТС, приехавший год тому назад в село. Инженера Голубова знали как работягу, речей от него не слышали, а дело своё он упорно и крепко ставил на ноги. Когда-то Голубов исключался из партии, потом был восстановлен, реабилитирован. Впрочем, и позже умудрился заработать два выговора. При первой встрече с Казанцевым он горячо и взволнованно начал рассказывать о них, нападать на каких-то бюрократов, с которыми в своё время вёл борьбу, но Казанцеву было некогда. Он

усмехнулся: «Сняли выговора и ладно». В глазах Голубова мелькнула обида, но рассказ свой он оборвал. Голубов приехал в село вместе с семьёй, устроился прочно. Очень скоро Терентьев, который сам умел работать и ценил это в других, сказал в райкоме: «Новый-то инженер молчит-молчит, а с размахом. Масштабный работник». С тех пор Казанцев на совещаниях всегда приводил в пример «специалиста Голубова, добровольно по призыву партии приехавшего в село...»

В первые фразы инженера Казанцев сейчас не вслушался, а потом нахмурился. Показалось, что Голубов говорит о каких-то очень общих местах: о единой дисциплине для всех членов партии, о подлинном демократизме, об опасности формализма, об инертности мысли, о необходимости бороться против парадного благополучия и упоения успехами в районе...

Наклоняясь к самому уху Казанцева, Заливадный тоскливо прошептал:

— Это он базу подводит... Сейчас начнёт мосты перекидывать.

Держись, Викентий Иванович!

И тогда Казанцев понял, что говорит Голубов об обязанностях члена партии, записанных в её Уставе. И что все его слова имеют самое непосредственное отношение к личности секретаря райкома Казанцева, его жизнь и работа могут не выдержать испытания светом этих больших слов. И в то же время понял: Голубов сейчас, после двадцатого съезда, когда так ясно стало, что вопросы движения вперёд, выполнения новой пятилетки решаются и методами руководства, не может и не должен говорить иначе. Казанцеву вдруг захотелось, чтобы не было сегодняшнего собрания, чтобы произошло оно не сейчас, а спустя год, чтобы мог он прийти к нему иным, не сегодняшним.

Но собрание шло. Голос Голубова звучал тихо, казался усталым, словно не по душе ему было говорить правду, а молчать не мог, не имел права.

— Знает ли товарищ Казанцев, что стараниями многих «доброжелателей» его слово, верное или неверное, стало законом в районе. «Товарищ Казанцев распорядился», «Викентий Иванович дал указания...» А думал ли товарищ Казанцев, что многое надо разъяснять людям, терпеливо, подробно, а не просто полузакрывать глаза и значительным тоном подчёркнуто произнести: «В большом доме сказали... Ясно?» И дальше считать, что это уже приказ, что всё сейчас же обязано завертеться колесом.

И вдруг в усталом голосе Голубова словно прорвалось волнение.

— Да, чтобы трудиться-то, чтобы шестую пятилетку выполнить, думать надо, мыслить. Творчески, с горением, со страстью коммуниста... В этом один из важных резервов. В живой, критической мысли, освобождённой от штампа, от шаблона, в отказе от парадности, от всего, что мешает идти вперёд.

Вероятно, Казанцеву надо было захлопать вместе со всеми. Так сделал Заливадный, по крайней мере он дважды беззвучно и вяло свёл ладони, но рука, на которую опирался Казанцев, как прилипла ко лбу.

— Что же, перерыв объявлять или закругляться? — растерянно наклонился к его уху Заливадный.

— Пусть говорят люди, — еле разжав губы, ответил Казанцев.

В перерыве он вместе со всеми спустился со сцены в боковую комнатку, где обычно отдыхал президиум. Навстречу торопливо встала Клава.

— Викентий Иванович, я вам нарзан разыскала, — каким-то неестественно бодрим голосом сказала она.

Он молча протянул руку. Клава мгновенно откупорила бутылку, наполнила стакан шипящим нарзаном. Он отпил несколько глотков. В комнате стоял шум. Из дальнего угла за Казанцевым пристально наблюдали умные глаза Степового. Громко, возмущался Заливадный, говорил о том, что факты всегда можно передёрнуть и извратить.

Думая о случившемся, Казанцев вспомнил, как однажды на краевой конференции критиковали одного из членов бюро, который сидел в президиуме. В перерыве он ходил среди делегатов, оживлённый, уверенный, перебрасывался репликами, по всему было видно, что критику он принял близко к сердцу, но она далеко не перечеркнула его работы, он значительный и деятельный человек. Здорово у него это получилось. И сейчас Казанцеву показалось, что этот приём, подсмотренный им в жизни, стоит повторить.

Он шагнул за порог в коридор, где отдыхали участники актива и где успело повиснуть синеватое облако табачного дыма. Здесь стоял гул голосов, смех, уже завязывались споры.

Не прошёл он и нескольких шагов, как вдруг услышал звонкий молодой голос колхозного бригадира:

— Не иду я в долю к Казанцеву, ой, нет, не иду.

О чём он говорит? О какой доле? Стало ещё тревожнее. Что понимает этот молодой паренёк под словами «иду в долю»? Участие в общем для него и Казанцева деле? Общую ответственность за это дело? Но какой бы смысл ни вкладывал он в свои слова, а всё-таки сегодня он отделил, отчеркнул себя от Казанцева.

Казанцев почувствовал, что нет у него силы беспечно и спокойно пройти по коридору, заговорить с людьми. Он резко повернул назад.

В дверях столкнулся с Клавочкой:

— Викентий Иванович, можно звонок давать?

Словно от боли свело ему скулы.

— Прошло пятнадцать минут?

— Прошло, Викентий Иванович.

— Так зачем же вы меня спрашиваете? — Казанцев еле сдерживался.

— А 'как же, Викентий Иванович, — уверенная в своей правоте, удивилась Клавочка. — Как же без вашего разрешения.

— Звоните, — махнул рукой Казанцев.

И снова шло собрание. Теперь коммунисты говорили о Заливадном, который не хочет ни одного дела решить самостоятельно, не заручившись «санкцией Казанцева», о Ванюшине, слишком уж он заботится о своём авторитете, боится с комсомольцами песню спеть, в футбол бросил играть, как только был избран секретарём райкома комсомола.

Говорили о них, а Казанцев думал: «Иду в долю, во всём иду в долю. И в перестраховке Заливадного, и в раннем бюрократизме Ванюшина — во всём есть доля моей вины».

Вот встала за трибуну директор школы, разложила перед собой заготовленные листочки.

— С чувством глубокого удовлетворения встретили мы, товарищи... — начала она.

Казанцев подался вперёд, мелькают, не задевая сознания, привычные фразы: «Под руководством районного комитета партии», «коллектив школы примет меры, чтобы добиться всемерного улучшения»...

С глухой и острой неприязнью к себе Казанцев думал: «Иду в долю... Иду в долю и к ней, члену партии, человеку с высшим образованием, которая для своих верных мыслей, для хороших планов коллектива не сумела найти живых слов, а как засохшими подсолнечными бодыльями утыкала выступление привычными штампами. И моя вина здесь...»

Собрание кончилось за полночь.

Казанцев надвинул кубанку на лоб, глубоко засунул в карманы тужурки руки. Под каблуком звенела земля, хрустел ледок на лужах. Казанцев шагал быстро. По грейдеру шла колонна машин. Кто-то ждал этих грузов, ждал завтра утром, и они придут утром. Слева от дороги виднелось недостроенное здание птицефабрики, — завтрашний день что-то добавит и сюда.

Около своего дома Казанцев остановился. Положил было руку на кольцо калитки, но сейчас же отпустил его. Дом стоял почти на берегу реки. К ней-то и потянуло Казанцева. Он вышел на откос и долго слушал её глухой шум. В темноте почти неразличимы были её воды, но одно твёрдо знал Казанцев: они стремятся вперёд, вихрят водоворотами, вбирают в себя буйное течение притоков, и чем дальше, тем шире и увереннее, тем спокойнее и мощнее стремятся они вперёд.

И снова вспомнился звонкий голос молодого бригадира: «Не иду я в долю к Казанцеву, ой, нет, не иду». И с каким-то спокойным бешенством, стоя над шумящей во тьме рекой, Казанцев вслух произнёс:

— Нет, идёшь, дорогой. И Бондарчук пошёл в долю, и Голубое пошёл, и всякий, кто захотел поправить. И не дурак Викентий Казанцев, чтобы не понять, что в такую минуту решается его судьба, как коммуниста. Ломать себя надо? Сломаем. Есть на что опереться! На коллектив. Нет, дорогой, пойдёшь в долю. Доля у нас одна. И дело наше партийное — одно.